

Поэзия Виталия Мамаёв необычайно насыщена – содержанием, поэтическим смыслом, экспрессивной интонацией, образностью, метафорикой, динамикой. Он словно торопится высказать всю накопленную энергию чувства, переживания, художественного осмысления. Внутренние рифмы, густо аллитерированный звук, создают ощущение удивительного поэтического действия, в котором есть место самым разнообразным по времени и пространству событиям истории, явлениям свободной мысли и духа. Сильный поэтический характер и жест.

Д. Ч.

АГАДА́ (LET MY PEOPLE GO)

Над кромкой Иудейских гор заря.
Но темнота, и холод, и промозглость
ещё сопротивляются, царя
в остатках форта древнего царя...
Из окон раздаётся Go down, Moses,
труба Луи сгоняет сизаря
с одной из плоских невысоких крыш.
Край неба, ясен, ярк, медно-рыж,
пророчит день – из ветреных, хороших,
прозрачных дней с дымком от жжёных крошек,
из тех, что наступают раз в году,
из тех, когда читает Агаду
потомок беспокойный Моисеев,
о распрях эллинистов и ессеев
под светлый праздник позабыв едва...
Как остро в этот миг звучат слова
из вечного молитвенного свода,
как на зубах песком хрустит свобода
и снова расступаются моря,
дно обнажая, камни, якоря
да тычущие пальцами рулей
в бездонность неба рёбра кораблей,
и никому не кажутся простыми

ни сорок лет, ни сорок дней в пустыне...
Но, схваченное праздничной тесьмой,
минует время, выйдет день восьмой,
за ним вернутся будни, и тогда
на полку встанет на́ год Агада,
и дух свободы, как во время оно,
оха́ют и вожди, и холуи...
Но ты сквозь атмосферные слои,
сквозь время дуй в трубу свою, Луи,
да так, чтоб донеслось до фараона.

СНЕГ

Carità aut navia. Голова или всё же барка...
Что-то да выпадет, даже не обязательно аверс-реверс.
Палестинская ночь похожа на матово-чёрный музейный бархат,
а на нём – полный месяц, как императорский ауреус.
Никогда не предвидишь, чем обернётся полночь –
женщиной, кошкой, книгой ли, чашей, чащей
собственных мыслей... Среди тишины кричащей
поздно уже, да и некого звать на помощь.
Carità aut navia. Тот же ветер надует парус
или в окно постучится голой осенней веткой.
Жизнь похожа на пьесу. Она состоит из пауз
и диалогов, навеянных книгой ветхой,
той, что утешит кого-то, не помогая,
где-то крови не даст пролиться, а где-то жёлчи...
Бог вовсе не бородастый старец, но наглый весёлый гаер.
В высях своих золотой подбрасывая кружочек,
он наслаждается круговертью голов и барок,
смехом своим заливаётся конопляным...
...Где-то идёт снег, белый, как третье послание Эскобара к
потерявшим веру во всяких богов землянам.

ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Какие краски, боже мой, какие кисти!
Как галеон, что чудом выжил при конкисте,
гружёный золотом, под мерное стаккато
прибойных волн плывёт на заднике заката
большое облако, темнеет, иссякая,

пространство с севера на юг пересекая,
плывёт бесснежную, безветренной зимой,
плывёт по греческому Средиземноморью.
Какое время, боже мой, какие нравы!
Кинжалы боле не в ходу, плащи, отравы,
иное в моде ампула, другая роль... Да,
прошли те дни, где воин был важней герольда,
где лучник был стократ ценней жреца-проныры,
не те красавицы пошли, не те турниры,
и что осталось в этой эре безлошадной,
как не бездумно созерцать, скажи, глашатай...
Какие ритмы, боже мой, какие ноты!
Язык становится сухим, ушли длинноты,
никто не ниже больше бусы да мониста,
зануда-писарь напрочь выжил романиста,
удел стареющих шутов теперь не в схеме,
их выбирают королями шутовскими,
но что над этим горевать, судьбу итожа...
Остались те же облака, и море то же,
солёный воздух, рваных мыслей ахинея,
и солнце снова тонет где-то в Пиренеях,
и что ему до наших войн, до кривды-правды...
Невольно в голову взбредёт, что Шпенглер прав был,
что все пути предreshены, ходы и тропы,
и это всё-таки закат... Закат Европы.

ОТ МАРКА

Завсегдатаи ринга, султаны свинга,
мы видали Кинга, читали Юнга,
напевали Стинга, врывались с фланга,
наступали на запад, бежали с юга,
не терялись – республика ли, фаланга,
революция, триппер ли, похмелюга...
Мы вставали с пушкой, летали тушкой,
нас тащило влюбиться, убиться, спиться
и не брезговать самой дрянной клетушкой,
где бы можно было совокупиться.
Мы шагали к датам, кружили с Дантом,
команданте не путали с комендантом,
даже в самом приподнятом и поддатом
различали, кто коэн, а кто левит,

подражали Цюю, жевали сою,
посыпали раны травой и солью,
и, когда нам явится смерть с косою,
нас и это не очень-то удивит.

ИЮНЬ

Город большая сцена, в городе тридцать один в тени,
кто бы ты ни был, механик светила, действуй, закатывай, не тяни,
бог ты, творец, судия ты, неважно, да хоть и чёрт,
только крути лебёдку, иначе город расплавится и стечёт
в море, дымящийся, будто в плоской посудине огненная руда.
Морю давно не впервой проглатывать города,
море не мы, оно не мечтает на несколько лет вперёд.
Море однажды навечно все города отберёт,
но в этот вечер оно котёнком – трогателен, но резв –
ластится к берегу, тихо мурлычет, трётся о волнорез,
неторопливый бриз треплет радужный флаг над кафе "Ханой",
солнце меняет угол атаки, красит фасады хной,
время бежит быстрее, как ни гонись за ним,
время съедает не только нас, но, видимо, и деним,
ибо шорты на девушках, загорелых и всесезонных,
с каждым летом короче, и скоро ходить без оных
будут, или от шорт останется только пояс...
Девушки, впрочем, ходят, не беспокоясь,
так, как они, улыбается только счастливая голь и юнь...
Город большая сцена. На сцене идёт июнь.

Н.В.

*«Если бы Вы знали, с какою радостью я бросил Швейцарию
и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию».*

Н. В. Гоголь

Небо бездонно, счастье бездонно... Ах, Николай Васильич,
душенька ваша, красавица-донна, bella Italia сиречь,
в славе и в сраме, в борделе и храме тучна и плодовита,
вместе со всеми своими дарами снова у ног пиита.
Виа Систина, церковь, вестимо, лестница вниз, на площадь,
полдень блаженнее Августина, ветер листву полощет.
Столик, чернила, судьба очинила перья, влекла по миру...
Это ль несчастье – не возвращаться в Северную Пальмиру?

«Мёртвые души». Давят и душат нравы Петрова града.
Жить под жандармом... В Риме задаром можно дышать. И правда,
те же здесь сини, в отчизне Россини, звёзды видать в криницах...
Кто виноват, что о жизни России пишется в заграницах?
Суетность века, кофе у «Греко», вязкое, непростое
бытописание имярека не подорвёт устоев,
косность, и жадность, и беспардонность сгинут не в одночасье...
Неба бездонность. Даже бездомность...
Здесь и бездомность – счастье.

JAMAIS PLUS (НИКОГДА)

В тёмном кафе, где ты когда-то виделся с Амели,
время замерло чайным клипером на мели,
ветер чуть треплет маркизу, как бесполезный обвисший стаксель,
дама под дверью что-то бормочет почтенной таксе,
и перспектива бульвара сливается с сумерками вдали.
Всё здесь как прежде, и только южный гортанный говор
кажется порождением века и дня другого,
новой, большой, безнадежно чужой Земли,
вовсе не той, на которой ты виделся с Амели;
прежняя, та, укрыта никем здесь не виданными снегами...
Где-то в рыбацкой деревне, в чёртовом Сенегале
Амели обучает детей простому – чтение, пропись, счёт,
и её совершенно не тянет домой, вот именно не влечёт,
единственную на десятки миль обладательницу веснушек...
И к полуночи, под покровом туземных богов, плеснувших
тьмы повсюду вокруг, на воды, на лес, на лица,
Амели включает планшет, читает, хмурится, даже злится,
после пишет, стуча глухо и коротко по стеклу,
то, что ты утром прочтёшь у себя в Сен-Клу:
«Не пиши. Не приеду. Не жду. Не скучаю и не люблю.
Жамэ плю».

САЙМОН

...Игнорируя синагогу, Саймон молится у стены.
Саймон больше не верит Богу со времён мировой войны.
Он для Саймона кровью пьян. От чекистских расстрельных ям
до Берлина с вождём, который сделал идолом крематорий,
как же часто и как же много крови льют во владеньях Бога...

...Саймон молится у стены. Все родные унесены
той войной. Не протянешь рук им. Равнодушный кирпичный Бруклин,
слёз следы на пигментных пятнах, слов обрывочных и невнятных
шорох тонет в машинном гаме, листья носятся под ногами,
залит светом внутри драгстор, осень, Саймону скоро сто,
сын двадцатого века Саймон, двадцать первый оформлен займом,
сколько лет – и всё войны, войны, человека не победишь...
...Как бы мама была довольна тем, что Сёмка прочёл кадиш¹.

SODADE

Тоска, Сезария. Тоска. Как говорят на Кабо-Верде,
содад. Июль. В небесной тверди
ещё одна взошла заря. И облака плывут, как вата,
над раскалённостью Леванта,
где век за веком, день за днём
всё туже узел, и на нём
следы от плясок сильных мира,
Дамаск, Кейсария, Пальмира..
Невесть что тянет здешних, пришлых –
во славу Будды, к чести Кришны
лишь их поклонников орда
не посылала войск сюда.

Содад, Сезария, содад. Бежит асфальтовая лента,
летит очередное лето,
светилом варварски палимы,
приходят в иерусалимы
паломники... Неумолим
и грозен Иерусалим,
до склок, до бойни, до резни
он свой у каждого из них.
Но день сегодня вышел тихий –
нигде ни бомбы, ни шутихи,
и в полной выкладке солдат
сучает у стены... Содад.

Она, Сезария. Тоска. В гармониях твоих креольских
неявно проступает Ойстрах,
но – что в Киото, что в Версале –
мотив тоски универсален

¹ Кадиш (арам.) – еврейская молитва, в одной из форм поминальная (*Прим. автора*).

по всяким поводам любым...
Под общим небом голубым
уже никак не схорониться,
и там проведена граница,
эфир нарезан и озон
кусками бесполётных зон...
Мир накануне марш-броска.
Тоска, Сезария. Тоска.

ШАХАРИТ

Несколько пожилых евреев – пейсы, кипа, талит –
в самом хвосте самолета над Атлантическим океаном
совершают рассветную, самую долгую из молитв,
как всегда, обратясь лицом к городу, где палит
солнце полудня над Шейх-Джарахом и Силуаном,
где шумит, и гудит, и пестрит базар,
где у каждой кофейни, войдя в азарт,
по столам стучат игроки в шеш-беш,
где невидим, но ощутим рубеж
между городом минаретов и городом колоколен,
где в один из осенних дней каждый третий – коэн,
где паломники молятся днём,
а туристы ночь прожигают под ритмы сальсы,
где лежат короли в соборах –
пьемонтцы, фламандцы да провансальцы,
это город земной, а небесный, где вол с орлом и со львом – над ним,
и да будет он в этих двух ипостасях своих храним...
Высота одиннадцать тысяч двадцать четыре метра,
плоскости режут тугую плоть западного ветра,
пассажиры дремлют, но те, кто не спит, не без
лёгкой иронии шепчутся – надо же, молятся небесам с небес...
Золотым огнём с востока рассвет горит,
и возносится тысячелетняя шахарит¹.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

У царя шесть десятков жен и восемьдесят наложниц,
хохотушек, затейниц, певиц, танцовщиц, безбожниц,
у царя и дворец, и войско, и деньги, и тонкий льняной хитон.

¹ Шахарит (ивр.) – утренняя молитва в иудаизме.

На рассвете, когда тоска режет сердце острее ножниц,
закипает смола в преисподней и явственно тянет серным,
он идёт к своим длинноногим сернам
и пасёт это стадо. Усердно пасёт притом.
У царя есть власть. И она не кажется лишней цацкой.
Вот на днях принимал послов от царицы Савской,
козлоногой, по слухам, но умной и жаждущей ласки царской...
Что ни день, у царя дела.
И ночами он тоже не спит, радея
о народе, о благе для Иудеи,
но не о любви, даже если бы и была.
Где-то рядом с дворцом, в садах, свежа, весела, умыта
предрассветной росой, смеётся юная Суламита.
Ей тринадцать. И мир её светел. Вчера, к тому же,
мать сказала, что надо бы думать уже о муже.
Суламита смешно и задумчиво морщит нос,
глядя на облака. И откуда их ветер нёс,
из моавской земли или из Эдома?
Ах, сидела бы ты, Суламита, дома,
не глядела на облака. Не в них
прочитается твой жених,
не вольётся и в плеск ручья...
Суламита, ещё ничья,
слушай Бога ли, мудреца ль,
только не ходи рядом с той дорогой,
по которой поедет царь....

АЛЬФОНСИНА

Здесь аккуратные домики лепятся к скалам неведомым божьим клеем;
здесь каждым девичьим сердцем нежно храним, лелеем
образ отважного капитана в чем-то полувоенном, белом,
Клинта такого Иствуда с лёгкой печатью гордыни на загорелом,
пусть и бесхитростном, как бы открытом ветрам и штормам лице;
здесь отовсюду видны корабли, и слышны их лужёных глоток
крики, но в крошечной гавани между рыбацких лодок,
словно в тесной белёной церкви святого Игнасио в воскресенье,
не поместился бы даже самый плюгавый сейнер.
Дряхлый отец Гаэтано едва взбирается на архаичный резной амвон,
время течёт, течёт бесконечно долго на фоне волн,
девушки уезжают однажды, устав напрасно ждать капитана,
едут подальше от волн, кораблей и старого Гаэтано,

самые терпеливые в пятницу вечером, приседаюсь
стайкой к стене церквушки, поют под гитару что-нибудь из Мерседес,
каждый голос в их хоре прилажен, пригнан, притёрт:
«Пусть Альфонсина покой обретёт...»

URBI ET ORBI

Может быть, это конец времён. Или же
только начало иных, совершенно иных многоборий.

Пламя свечей сегодня привычно вылизет
тысячелетние тени в величественном соборе.

Urbi et orbi, толпой подхвачено и усилено,
переплывёт из собора на площадь и в мир,
во дворцы и хижины.

Но ни один конклав, как, впрочем, и ни один консилиум,
не исцелял больных, не воскрешал из мёртвых,
не утешал обиженных.

Разум, конечно, светильник, только увлётся генами и бозонами.
Зло тем временем обрастает ракетами, телеканалами и полками,
зло все богаче, всесильнее, организованней...

А добро остаётся всё с теми же голыми кулаками.

Может быть, это конец времён. Но если в свечах,

и в шелках, и в золоте

может ещё отразиться мир совершенно другой,

грязный, опасный, нищий –

чёрт побери, делайте что-то, бейте в колокола,

организовывайте,

ибо лодка одна, и если она окажется

кверху дном...

Некому будет даже предаться скорби.

Urbi et orbi.

ИЗ ИТАЛЬЯНСКОГО ЭТЮДНИКА. ВИА АППИА НУОВА

Часы и дни иначе здесь бегут,

текстурой вечности придержаны понеже.

О, время в Риме добрый Робин Гуд...

Рассвет прозрачен и неспешно-нежен,

неровен абрис далей законных,

и фестиваль герани на балконах

скорей украсит, чем испортит вид.
И Рим сегодня снова удивит,
куда бы ни направил ты стопы –
в водовороте ль уличной толпы,
бродя ли анфиладами музея –
ты дышишь этим городом, глазами,
читая, споря, искренне дивясь,
ища и обнаруживая связь
эпох, времён, ремёсел и наречий,
ты просто пьян от каждой новой встречи,
теряешь дар и речи, и письма,
и без того посредственных весьма...
Ты сам себе и парус, и кормило,
твоё окно на Фурио Камилло
глядит на сердце города, где дуче
в припадках исторической падучей,
не стоя даже должности легата,
пытался, стоя на плечах гигантов,
повелевать и строить, рушить, крыть...
Судьба пигмеям сообщает прыть
играть богов, взбираться на котурны,
пусть жалки роли их, карикатурны,
под непосильной тяжестью венца
пигмей играет бога до конца.
Через десятки или сотни лет
пески забвенья не заносят след,
подвержены неписаным законам...
...Кресты и крыши, парков островки,
герань весёлой бурей по балконам,
и город, не забывший ни строки.